

ВРАЗБРОД

Из дневника критика

Проза по дням недели

(Тургенев в миниатюре)

Родоначальник короткого жанра в нашей литературе, каким по праву можно считать Тургенева, советовал читать его «Стихотворения в прозе» вразброд. То есть не проглатывать всё сразу, подряд, а растягивать удовольствие по дням недели и не пресыщаться мгновенно. Может быть, тогда что-то и ляжет на душу, скромничал топовый писатель (по нынешним меркам, конечно).

И мечтательные тургеневские барышни (а другого массового литературного потребителя в те времена и не было) своего воздыхателя слушались.

Прислушаться бы и нам и намотать на ус, тем более что миниатюра нынче пошла резко в гору: жанр этот действительно обладает подённым притяжением, особенно когда вокруг разброд и шатания...

Пушкин и обнуление

(Что увиделось двум Александрам)

Бесхитростную, на первый взгляд, но блистательную поэму Александра Пушкина «Граф Нулин», которая зачастую воспринимается как стихотворная повесть нравов, современный критик Александр Архангельский, известный многим по телеканалу «Культура», возвёл в ранг очень сильного обобщения.

Не без оснований, конечно: Пушкин сам вынашивал планы создания произведения, где одним из героев выступал влюблённый демон-соблазнитель. Отсюда и «соблазнительное происшествие» в поэме, подобное тому, «которое случилось недавно в моём соседстве в Новоржевском уезде».

Но что там ночное событие с Нулиным и смазливенькой мелкопоместной барыней Натальей Павловной — это же

неудавшаяся попытка соблазнения России Западом! (Не думайте: мол, только мы обеспокоены предгрозовой атмосферой на политнебосклоне, — Пушкина тоже волновала тема нашего вечного противостояния, но не в связи, конечно, с расширением небезызвестного военного блока на восток.)

Она заведомо обречена, считает критик, — попытка поделить Россию «на ноль» (ассоциации, вызванные фамилией заезжего ловеласа и его коляской, свалившейся под откос). На ноль действительно не выполняется деление, и каждый школьник знаком с этим арифметическим правилом. Но и умножать-то ведь тоже нельзя — просто всё обнулится, превратившись в ничто, в пустоту. И вообще, надо бы оставить этот злополучный ноль в абсолютном покое и при расстановке политических игроков не трогать бы его...

Такой вывод из предложенной критиком метафоры напрашивается невольно. А дальше я смотрю, когда же подписали в печать эту книгу «Герои классики: продлёнка для взрослых», потому что уж очень мощные параллели получаются. Вышла она, оказывается, за два года до того, как...

«Интрига разрешается ни во что, обнуляется», — заключает автор и призывает нас читать «Графа Нулина».

Нам остаётся только проследить, как будут дальше развиваться события, нарушающие простое арифметическое правило; игнорируя его, можно запросто оказаться двоечником.

Может, и впрямь именно так всё и случится, как увиделось двум Александрам: сначала одному, а потом другому?

«Скажи-ка, дядя...»

(У истоков русской новеллы)

Сюжет как таковой в произведении ещё не самое главное (сюжета в нём вообще может не быть), гораздо важнее герой, которого открыл для читателя автор, — вот в чём значимость для всей последующей русской литературы новеллистической прозы Лермонтова.

У классика всё как в жизни: никто ничего не выдумывает, даже в мыслях такого нет — просто с героем происходят самые разные случаи; о них мы узнаём из уст любезного рассказчика, который хоть и появляется по воле господина

сочинителя, но всё же подтверждает для нас достоверность случившегося.

Птица его героя

(Сорока и Сорочинцы)

Встретил сороку-белобоку, и вот какие мысли возникли в связи с этой птичкой, болтающей на деревце о том о сём. У неё не только длинный хвост-планировщик, но ещё и длиннющий язык. Трещит без умолку, и ведь не запретишь — хочешь не хочешь, а приходится слушать эти пустые разговоры.

Гоголь, как мне кажется, в полном объёме унаследовал «птичью» фамилию, да к тому же удосужился родиться в Сорочинцах, под самым что ни на есть сорочьим знаком. Как тут не станешь автором «Ревизора» с его бравым столичным хвастуном, вечно живым Иваном Александровичем Хлестаковым!

Лучше всех литературных героев болтает и порхает, порхает как сорока по Руси-матушке: «Я везде, везде...»

Бунин и его галерея

(Мастер в своей «Деревне»)

Бунин не писатель захватывающей фабулы — он писатель картинный. В его почти бессюжетном творчестве так много портретов и пейзажей, что они составят, пожалуй, целую художественную галерею, созданную большей частью вдали от родной земли, — в этом случае автору не оставалось ничего иного, как полагаться на свою память. Потому в изображённых им деталях нет того натурализма, свойственного более ранним произведениям, а есть отборная проза, уже просеянная через взыскательное авторское ситечко, звучащая как стихи; есть и ностальгические нотки писателя о том, что «была когда-то Россия»...

Только не стоит торопиться в тот самый зал, где расположилась «Деревня»: здесь другой Бунин, он пророчествует, предрекая скорое появление Октября и его рабочего инструмента — пролетария. Точно невеста, ждёт и страшится

деревня неизвестного хозяина, который мог бы, как прежде, за всех всё решить и подсказать, когда общине пахать, когда сеять. Вскоре он явится из города, этот хозяин, пока ещё вкушающий запретный книжный плод о роли «*пролетарията*» в России, и задавит в колхозах до последнего, закрепостив мужика ещё сильнее прежнего барина. И это уже будет окончательная и бесповоротная гибель русской деревни.

Вышедшую повесть Бунина критика громила, причём с не меньшей силой, чем это делали крестьяне, когда палили помещичьи усадьбы в 1905-м. Всё верно, всё объяснимо: найдётся ли у нас пророк в своём-то Отечестве?

Поцелуй

(Куприн и женский смайлик)

Перечитывал на днях «Поединок» и вдруг осознал, что образчик женского любовного письма, который был представлен в повести (от него ещё пахло персидской сиренью, если помните), — это предтеча известного смайлика, а сам Куприн не кто иной, как его крёстный отец. Ведь что у нас получается? Чуткий, он же и самый высокооплачиваемый в империи литератор уловил модную тенденцию — желание русской барышни выражать переполняющие её эмоции поцелуем. На листе бумаги это было сделать непросто, если не пометить то особенное место: «Я здесь поцеловала».

При подготовке рукописи Куприна к печати сложности потом возникали у метранпажа: он был вынужден эту фразу брать в рамку. Метранпаж мог бы, конечно, призвать на помощь художника, чтобы тот графически изобразил поцелуй, а потом изготовить клише, но это не входило в полномочия типографского работника, да и повесть вчерашнего поручика, и без того не самая дешёвая, стоила бы ещё дороже.

Потребовалось почти целое столетие, чтобы научно-технический прогресс учёл историческое стремление русской барышни к поцелую: так и родился популярный смайлик, как я предполагаю.

Дорогие френдессы, отправляя любимому адресату пурпурные губки, вспоминайте иногда большого знатока женской души Александра Ивановича Куприна!

Так сказал Лихтенберг!

(Афоризм в устах зека)

Бывает, достаточно одной-единственной фразы или какого-нибудь кусочка текста, чтобы автор буквально пленил мастерством, и вот уже его творчество тиражируется на окололитературных посиделках. В том, разумеется, случае, если разговорная ситуация подходящая и мужская обстановка требует.

Именно так и произошло с афоризмом немецкого острослова Георга Кристофа Лихтенберга. И не только у меня одного — у Василия Макаровича Шукшина, между прочим, тоже. Более того, образец изысканной прозы писатель даже включил в свой бесспорный литературный шедевр — киноповесть «Калина красная».

Сцену решительного отказа «заочницы» Любы избраннику Егору Прокудину в момент очного знакомства и последующего обустройства на ночлег писатель решил вдруг усилить цитатой Лихтенберга:

«Её нижняя юбка была в широкую красную и синюю полосу и казалась сделанной из театрального занавеса. Я много бы дал, чтобы получить первое место, но спектакль не состоялся».

Конечно, вряд ли только что освободившийся «фраер со справкой» был знаком с творчеством великого немца. Разве что посредством «сильно образованных» заключённых. Правда, Лихтенберг в его устах фигурирует как «француз» — у нас это слово использовалось в прошлом столетии на многие случаи жизни. Но даже луна, которая «появилась в окошки», тоже, я думаю, сильно удивилась. Вот это зека!

А как иначе можно было намекнуть советскому читателю на классика житейской мудрости? Взяв в руки киноповесть, наиболее любопытные срочно бежали в библиотеки — всем страшно захотелось разыскать того самого остряка...

Нашёл его со временем на книжных полках и я, и Георг Кристоф Лихтенберг, записные книжки которого принесли ему посмертную литературную славу, заблестал всеми гранями таланта, не хуже Шопенгауэра, между прочим...

И всё же цветастый «юбочный» эпизод, вполне допустимый в литературном произведении, из художественного

фильма режиссёр Шукшин исключил. Казалось бы, вопреки тому, что утверждал его кумир эпохи Просвещения:

«Будущее должно быть заложено в настоящем. Это называется планом. Без него ничто в мире не может быть хорошим».

Так сказал Лихтенберг! Но даже в самый хороший план, будь то строительство коммунизма или создание другого рая на одной шестой части суши (для богатых, естественно!), суровая наша действительность неизбежно вносит свои корректировки. Может, потому и рвутся люди срочно занять место в первом ряду, пока ещё не кончилось представление?..

Кануны

(Залыгин о спасителях Отечества)

Писатель Залыгин был обласкан властью, однако это не помешало ему под финальные гудки перестройки создать сибирский роман «После бури», где главным героем стал белый офицер, а среди колоритных персонажей был генерал, который незадолго до Колчака провозгласил себя спасителем Отечества.

Вовсе не исключаю, что главный редактор ведущего литературного журнала, каким в ту пору считался «Новый мир», уже готовился в пророки, потому как устами белого героя изрёк золотые слова:

«Россию только тот и спасёт, кто спасёт её от нынешнего воровства. Тогда Россия воспрянет. Без этого — никогда!»

В канун девяностых лишь немногие предвидели скорое крушение великой державы, и Залыгин поступил предусмотрительно, застраховав себя должным образом, отмечая тотальное воровство и коррупцию, но... среди чиновников сибирского правительства Колчака, хотя писатель (и это немаловажно!) дожил ведь и до первых лет правления ельцинского преемника, и даже премию от него получил.

Представляю, с какой силой мог бы зазвучать эпохальный прогноз мастера, но в самой читающей стране наступило время, когда роман Залыгина уже вряд ли кто открывал...

Фифи

(Когда «Старик путешествует»)

Последнюю пассию Лимонова в целях конспирации зовут Фифи, и вождь нацболов часто сравнивает её с застоявшейся кобылкой, перебирающей ногами в предвкушении скорого забега и раздачи призовых. Вот она, интеллектуалка из Москвы, хамовато ускакала вперёд, раздвигая толпу; Фифи не терпится увидеть долгожданный Париж — прежнее и явно плодотворное местопребывание писателя Лимонова...

Ну чем не Фру-Фру, если не брать во внимание, что у той литературной героини животного происхождения отмечалась некоторая косолапина задних ног?

Не знаю, возникали ли подобные ассоциации у самого Лимонова (не все поклонники Толстого), но ведь и великий комик Луи де Фюнес в некогда популярном фильме «Фру-Фру», обращаясь к цветочнице из ресторана, мечтающей стать светской львицей, с нежностью произносил эту лошадиную кличку, которая позже станет культурным достоянием Франции.

Мораль рассказца такова: вот появится в моей конюшне беговая скакунья, назову её в память о мировом нацболе Фифи, пока французские киношники это прозвище для своих шедевров не увели.

Закрепитель

(Что делать, если наш человек оказался под дождём в Париже?)

Одной френдессе, которая собралась было читать «Дождь в Париже», я не советовал этого делать. Не в том смысле, что в романе Сенчина всё промозгло, хотя в некотором роде дождь — это ещё и очищение.

Может, даже и катарсис, избавляющий героя от чрезмерного потребления винно-водочной продукции, едва он, турист из Сибири, заселился в гостиничный номер и предпочитает из него не высовываться.

Выйдешь тут за «черту оседлости», когда в парижских лавочках такие чудные «анисовые капли» в виде пастиса. И герой их, конечно, принимает, делая это в одно лицо и

погружая себя в воспоминания о прошлой жизни. Почему именно среди мировых шедевров архитектуры нужно думать о глубинной Азии, я, право, не знаю, но как мужчина я его понимаю: наш брат помнит разные чудные мгновенья. А пушкинские барышни их создают или советские и постсоветские девушки, уже и не суть важно. (У автора это, конечно, девушки, о которых сказано в романе немало и откровенно.) Все они проходят перед героем после пастиса, порой вызывая сожаление: эх, не закрепил эту девушку сексом...

Что ж, в глобальном смысле секс, конечно, хороший закрепитель. И даже более того — тоже форма движения, как уверял нас в том большой кудесник слова Виктор Степанович Черномырдин.

(С верой и надеждой, что хорошие девушки всё-таки наставят сибирский талант на путь истинный.)

Маятник

(Роман на экране)

Рулевые Первого канала, похоже, забыли, о чём роман «Угрюм-река»: о неизбежном крахе капитала, ну и о победе пролетариата, естественно. Всё у Шишкова по Марксу, да и по жизни тоже.

Видать, ещё качнётся маятник истории. Ясно, что пролетариата нынче днём с огнём не найдёшь, но куда вы денете миллионы перевозбуждённых человечков, которые, как мухи, угодили во Всемирную паутину?

А кто-то там говорит, что мы исчерпали лимит на революции. У маятника об этом спросили?

Книгочей-ветер

(Дуновения и ураганы в нашей жизни и в одном классическом романе)

Возле остановки вдруг создалась пробка, и я, сидя в автобусе, разглядывал на улице привычную для наших дней толкучку, особенно книжный развал, где лежали забытые классики и кто-то имел на них определённые виды,

поскольку уже вытягивал томик за томиком, но так и не успел закрыть один из них. И вот теперь новым читателем старой книги был гуляка-ветер.

Он деловито переворачивал страницу за страницей, торопливо листал пожелтевшую от залежалости бумагу, точно спешил всё мгновенно сканировать и умчаться дальше по своим неотложным делам.

Ветер-ветер, в большинстве своём юго-западный, порывами до пяти метров в секунду, о себе-то, родимом, ты успели прочитать в процессе этой истинно ветреной жизни? А если нет, то совершенно зря: были же в Отечестве нашем писатели, которые именно тобой завершали даже целые романы, ныне не востребованные читателем, но всё же славные, во многом поучительные. Ведь только русский классик Леонид Максимович Леонов оставил нам в наследство огромного по объёму «Вора», где мастерски исследовал эпоху нэпа, точно предчувствуя неизбежный приход к нам возвратного капитализма вместе с роковой красавицей московской Благуши Манькой Вьюгой и её криминальным дружкой Агеем, прямым родственником современных киллеров на зарплате.

Звучен он, последний аккорд этого гениального романа: *«Но уже ничего больше не содержалось во встречном ветерке, кроме того молодящего и напрасного, чем пахнет всякая оттепель».*

Странник-ветер, что же ты опять нам принесёшь, блуждая по заморским кантонам, о чём ни словом не сказано в книгах? Или, научившись на горьком опыте одной евразийской державы, ты стал настолько мудрым, что тебе уже и не нужен книжный ум — ты живёшь умом своим, решая для себя, где пройтись как лёгкое дуновение, а куда в наказание обрушить ураган?

...пока он мир, а не война

(Сверяясь с классиками)

Ещё в школе я стал задумываться над тем, почему Лев Толстой назвал свой знаменитый роман именно так, а не иначе, — «Война и мир», какой смысл он вкладывал в это название, как

вкладывал его и в «Воскресение», и в библейский эпиграф к «Анне Карениной»: «Мне отмщение, и Аз воздам».

Где именно открылась эта антитеза (война и мир) в четырёхтомной русской эпопее? Задолго до Бородинского сражения, участниками которого станут многочисленные герои мирового бестселлера, — в битве под Аустерлицем.

Но ещё Иван Бунин в своём исследовании о Толстом отмечал, что это противопоставление и в девятнадцатом столетии служило для читателей неким водоразделом: кто-то читал только Войну, а кто-то — один лишь Мир. Дамы сверяли своё поведение с поступками Наташи Ростовской, блистающей на балу, у мужской же половины эталоном оставался князь Андрей Болконский, который потому и шёл на войну, что ему стала чуждой светская жизнь. В разговоре с Пьером Безуховым он достаточно откровенно, без лишнего пафоса, выразил своё отношение к войне, и оно, в общем-то, не расходилось с пацифистскими взглядами самого писателя, особенно после участия его как офицера-артиллериста в героической обороне Севастополя:

«Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было...»

Но это ведь именно война раскрыла глаза князю Андрею, когда он лежал на поле брани под Аустерлицем. Истекающий кровью, всё с тем же древком знамени в руках, он вдруг увидел над собой далёкое, неизмеримо высокое и вечное небо, которое стало для него моментом истины,



потому как «всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба». А уж защита национальных интересов «старой доброй Англии» в союзе с австрийцами (такую грузную ношу взвалила тогда на свои плечи Россия-матушка) — обман вдвойне (сделаю и я свою ремарку).

И ещё, пожалуй, сделаю одну. Мир прекрасен, пока он мир, а не война, — с этой мыслью, выраженной в духе неизвестного Платона Каратаева, разве не согласился бы и сам Лев Толстой?

Рыбак и смерть

(Об одном эксперименте на водах)

Про него говорили, что он интеллигент, который так и не вышел из народа. Причём говорили уже тогда, когда советский читатель наконец-то получил его главные произведения, многим до сих пор непонятные (роман «Чевенгур» и повесть «Котлован») — не все, к сожалению, способны за сатирой и гротеском углядеть намёк на современность. Но получил эти книги читатель только после смерти писателя, той самой физической смерти, которую Платонов пытался исследовать, создавая для этой цели своих чудаковатых персонажей — плоть от плоти народной.

Один из них — рыбак из «Чевенгура» Дмитрий Иванович; мы не знаем даже его фамилии, и это ли не знак того, что выведенный писателем герой — не просто какое-то отклонение, а персонаж, имеющий некие типические национальные черты?

И что же странного делает этот рыбак с озера Мутево, рано овдовевший, но до конца своих дней так и не снявший с правой руки оловянное обручальное кольцо? Он годами ловил рыбу, думая, что именно она, как особое существо, знает тайну смерти (даже у пойманной её глаза глядят без выражения, потому что они всё уже знают), гадал над этим и тосковал от своего любопытства. А однажды рыбак всё-таки решился и, не веря в погибель, захотел «пожить в смерти и вернуться»: со связанными ногами он бросился с лодки в озеро, чтобы победоносно завершить свой сногшибательный эксперимент на водах...

Можно, конечно, по-разному относиться к Платонову. Товарищ Сталин, как известно, после прочтения крестьянской хроники «Впрок» считал его «агентом наших врагов» (иноагентом, если по-нынешнему). Но нельзя не согласиться с писателем: только здоровое народное начало оградит нас от всяческих смертельно опасных номеров в государстве Российском, подобных тем, которые однажды явились в бредовую голову сельскому рыбаку. Об этом и пишет Андрей Платонов, характеризуя достойную реакцию местных жителей на беспрецедентную идею земляка:

«Что ж, испыток не пыток, Митрий Иванович. Пробуй. Потом нам расскажешь...»
(Перечитывая Платонова)

До конца!

(Про стойкость одного человека)

На кладбище, среди уже изготовленных надгробий, увидел памятник с надписью: «Иван Дурнопьянов».

Какой упорный, должно быть, человек! Наверняка ведь находились близкие, кто уговаривал его сменить фамилию.

А он стоял на своём и выстоял — до конца! Но «Мёртвыми душами» вдруг так и повеяло, и я даже склонен думать, что мало изменился русский человек...

